

A dramatic, cinematic illustration of a war-torn village. In the foreground, a young soldier in a green uniform is seen from behind, sitting on the ground amidst a pool of blood. The middle ground shows a dirt path leading through a landscape of destroyed wooden houses and debris. A large plume of black smoke rises from a central building. In the background, a small town is visible on a hill under a sky filled with large, white, billowing clouds. The overall atmosphere is one of devastation and tragedy.

Кукуша

Сто смертей дамки

Кукуша Кукуша

Сто смертей дамки

<https://litres.ru/74124764>

SelfPub; 2026

Аннотация

1943 год. Сожженная деревня, воронка от снаряда, умирающий гончар. Из красной глины, замешанной на крови и пепле, он лепит фигурку — не простую шашку, а Дамку. Он вкладывает в нее последнее дыхание, и глина оживает.

Мальчик-сирота Ваня находит теплую фигурку и берет с собой. Он не знает, что Дамка — не игрушка. Она — орудие убийства. Она — душа войны. Она — его судьба.

Ваня взрослеет. Он становится игроком, но он не играет — он воюет. Каждая партия — битва. Каждый ход — чья-то смерть. Дамка ведет его руку, требует крови, питается жизнями. Ваня побеждает, но цена игры — его душа.

Роман «Сто смертей Дамки» — это история о любви и предательстве, о войне и мире, о выборе между семьей и бессмертием. Шашки говорят голосами людей, доска становится полем боя, судьба партии отражает судьбу эпохи. Красная Дамка проходит через сто смертей, чтобы найти свой идеальный ход. Которого нет.

Эта книга — о нас. О тех, кто играет в игры, не зная правил. О тех, кто идет по доске жизни, не видя клеток.

Кукуша

Сто смертей дамки

Пролог. Часовщик и его доска

Я — старый часовщик. Я чиню время в городе, который уже трижды горел. Первый раз — в сорок первом, когда немецкие бомбардировщики высыпали свой смертный груз, как крестьянин высыпает зерно, только вместо пшеницы были килограммы тротила, а вместо урожая — мясо. Второй раз — в сорок третьем, когда отступающие жгли всё, что могло укрыть врага, и воздух был черным от сажи, и люди дышали пеплом, и этот пепел оседал в легких, и они умирали уже после войны, кашляя черной слизью. Третий раз — вчера, когда чьи-то ракеты, по ошибке или по злому умыслу, рухнули на центр, и теперь город, который я чинил всю жизнь, снова лежит в руинах.

Вы скажете — часовщик не чинит время, он чинит механизмы. Шестеренки, пружины, циферблаты, стрелки, которые вечно спешат или отстают, как будто время тоже устало идти. Но я вам скажу: механизм — это кости, а время — это душа. Когда я закручиваю пружину, я слышу, как под моими пальцами стонет прошлое. Когда я ставлю на место выпавшую шестеренку, я чувствую, как будущее выравнивается, как река, которая нашла свое русло. У меня в мастерской висят часы, которые остановились 22 июня 1941 года. Три

стрелки застыли, как три пальца мертвеца, и я никогда не завожу их, потому что боюсь — если они пойдут, война начнется сначала. Я слышал этот звон в детстве, и он до сих пор звучит у меня в ушах, когда наступает тишина.

Моя мастерская стоит на улице, где под асфальтом все еще лежат угли того лета. Я знаю это, потому что когда июльская жара раскаляет мостовую, угли начинают дышать. От них пахнет печеным хлебом и паленой плотью, и этот запах поднимается сквозь трещины в асфальте, как дыхание земли. Обычные люди этого запаха не чувят, они думают, что это просто пыль или выхлопные газы. Но я-то знаю. Я нюхал войну, и у меня до сих пор в носу осела гарь тех лет, как на стенках трубки оседает никотин. Я могу затянуться прошлым в любой момент, просто прикрыв глаза.

В моей мастерской, помимо часов, есть одна вещь. Она лежит на старом дубовом столе, покрытом царапинами и пятнами от чернил. Это доска. Шашечная доска. Черно-белые клетки выжжены на дереве, и на них, как солдаты на плацу, стоят шашки. Черные и белые. Ровные, гладкие, отполированные до блеска тысячами пальцев. Но одна фигурка стоит особняком. Она лежит в центре доски, на черной клетке, и не похожа на другие. Она красная, с темными прожилками, с короной наверху. Она маленькая, помещается в ладонь, но в ней есть тяжесть, которой нет в других шашках. Это Дамка.

Я не знаю, как она попала ко мне. Я не знаю, кто принес ее, кто оставил ее на моем пороге, кто прошептал мне в ухо:

«Храни ее. Расскажи о ней». Но она здесь. Она лежит на доске, и я чувствую, как она пульсирует по ночам, как она дышит, как она ждет. Она ждет, когда я возьму ее в руки и начну игру.

Я беру ее, и она теплая. Всегда теплая. Даже в морозные зимы, когда в мастерской холодно, а дыхание превращается в пар, она остается теплой, как живое сердце. Я прикасаюсь к ней, и в моей голове начинают звучать голоса. Голоса прошлого. Голоса людей, которые держали ее в руках. Голоса тех, кто играл ею, кто убивал ею, кто умирал от нее.

Она рассказывает мне истории. Она рассказывает мне о гончаре, который слепил ее из глины, смешанной с кровью и пеплом. О мальчике Ване, который нашел ее в воронке и носил на груди, прижав к сердцу. О Насте, которая любила его и боялась Дамки. О белой сестре, которую красная Дамка убила в финальной партии. О голоде, когда Ваня продал ее за хлеб, и о том, как она вернулась. Обо всех смертях, которые она принесла. О ста смертях, которые были ее жизнью.

Я слушаю ее голоса, и я записываю их. Я записываю их на бумагу, старым пером, макая его в чернила. Я записываю их, потому что боюсь забыть. Потому что если я забуду — они исчезнут. Все эти голоса, все эти жизни, все эти смерти исчезнут, как исчезает дым над пепелищем. А я не хочу, чтобы они исчезали. Я хочу, чтобы они жили. Хотя бы в этих словах.

Вы спросите меня: зачем? Зачем я пишу эту историю? За-

чем я трачу чернила и бумагу, время и силы на историю о глиняной шашке, которая убивала людей? Зачем?

Я отвечу вам: потому что это не история о шашке. Это история о нас. О людях, которые играют в игры, не зная правил. О людях, которые идут по доске, не видя клеток. О людях, которые убивают, думая, что защищают. О людях, которые любят, думая, что ненавидят. Это история о войне, которая никогда не кончается. О голоде, который никогда не насыщается. О смерти, которая всегда рядом.

И еще. Это история о надежде. О том, что даже в самой черной клетке есть белая. О том, что даже после ста смертей можно найти покой. О том, что даже самая жестокая игра может закончиться миром.

Я беру Дамку в руки, и она пульсирует. Я слышу ее голос — не слова, а ритм, как стук сердца, как тиканье часов. Она говорит мне: «Начинай. Начинай игру. Начинай рассказ».

И я начинаю.

Я рассказываю вам эту историю. Историю о глине и крови. О доске и шашках. О мальчике и его Дамке. О ста смертях и одной жизни. О том, как фигурка стала человеком, а человек стал фигуркой. О том, как игра стала жизнью, а жизнь стала игрой.

Я рассказываю вам эту историю, потому что кто-то должен ее рассказать. Потому что если я не расскажу — никто не узнает. А если никто не узнает — она исчезнет. Как исчезает пепел в ветре. Как исчезает время в старых часах.

Но я не дам ей исчезнуть. Я буду хранить ее в этих словах, в этих строчках, в этой доске, на которой лежит красная Дамка.

Она лежит на черной клетке, и я знаю: она ждет. Она ждет нового игрока. Новую руку, которая возьмет ее. Новую игру, которая начнется. И когда придет время, она найдет его. Она всегда находит.

Потому что Дамка не умирает. Она просто ждет.

И она идет. Всегда идет. Ищет свой край. Ищет свою смерть. Ищет свой идеальный ход.

Которого нет.

Я, старый часовщик, завожу свои часы. Стрелки идут, и я слышу стук шашек в каждом тике. Я сажусь за стол, беру перо, макаю его в чернила. Передо мной — чистая бумага. Она ждет. Как и Дамка. Как и я.

Я начинаю писать.

Глава первая. Глина, в которую дышали.

И я слышу, как Дамка на доске пульсирует. Она знает. Она знает, что история начинается. Что она будет жить. Что она не исчезнет.

И я пишу. Я пишу для нее. Я пишу для себя. Я пишу для всех, кто когда-нибудь брал в руки шашку и чувствовал, как она становится живой.

Я пишу.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ГЛИНА И КРОВЬ

Глава первая. Глина, в которую дышали

Я, старый часовщик, ремонтирую время в городе, который уже трижды горел. Первый раз — в сорок первом, когда немецкие бомбардировщики высыпали свой смертный груз, как крестьянин высыпает зерно, только вместо зерна были килограммы тротила, и вместо урожая — мясо. Второй раз — в сорок третьем, когда отступающие жгли все, что могло укрыть врага, и воздух был черным от сажи, и люди дышали пеплом, и этот пепел оседал в легких, и они умирали уже после войны, кашляя черной слизью. Третий раз — вчера, когда чьи-то ракеты, по ошибке или по злему умыслу, рухнули на центр, и теперь город, который я чинил всю жизнь, снова лежит в руинах.

Вы скажете — часовщик не чинит время, он чинит механизмы. Шестеренки, пружины, циферблаты. Но я вам скажу: механизм — это кости, а время — это душа. Когда я закручиваю пружину, я слышу, как под моими пальцами стонет прошлое. У меня в мастерской висят часы, которые остановились 22 июня 1941 года. Три стрелки застыли, как три пальца мертвеца, и я никогда не завожу их, потому что боюсь — если они пойдут, война начнется сначала. Моя мастерская стоит на улице, где под асфальтом все еще лежат угли того лета. Я знаю это, потому что когда июльская жара раскаляет мостовую, угли начинают дышать. От них пахнет печеным хлебом и паленой плотью, и этот запах поднимается сквозь трещины в асфальте, и обычные люди этого запаха не чувствуют, они думают, что это просто пыль. Но я-то знаю. Я

нюхал войну, и у меня до сих пор в носу осела гарь тех лет, как на стенках трубки оседает никотин, и я могу затануться прошлым в любой момент, просто прикрыв глаза.

Этот город, как и все города мира, стоит на костях. Археологи будущего найдут под фундаментами слои черепов — древние, средние, современные. Но наша улица стоит на костях не просто солдат — на костях гончара. Я не видел его лица, но я видел его работу. Говорят, у него была фамилия, но кто теперь помнит фамилии мертвецов? Фамилии горят вместе с домами, имена улетают с дымом, остаются только руки — руки, которые лепили, пока голова уже отдавала приказы умирать. Его звали Мастер. Только и всего. Последний гончар в сожженной деревне, где не осталось ни одной целой крыши, ни одного живого петуха, ни одного ребенка, который бы не захлебнулся дымом, ни одной женщины, которая бы не кричала той ночью.

Я знаю эту деревню, хотя никогда там не был. Я вижу ее сквозь стекла своих часов — там, где кончаются стрелки, начинается мое зрение. Она стояла на холме, и из каждого дома виднелась река. Деревня, где пахло хлебом и глиной, где дети бегали босиком по теплой земле, а старики сидели у ворот и щипали мочало. Гончар жил на краю, у самого обрыва. У него были руки, как у меня — коричневые, в трещинах, с взевшейся под ногти глиной. Он не мог есть, не чувствуя на губах вкус земли, и спать, не ощущая в пальцах тяжесть мокрой глины. Глина была его кровью, его воздухом, его богом.

Он лепил горшки для молока, кувшины для воды, миски для похлебки — и в каждое изделие он вкладывал кусочек себя, и поэтому горшки были живыми. Они держали тепло на час дольше, чем обычные. Они не трескались от кипятка. Они дышали.

Но в сорок третьем в деревню пришли. Сначала пришли наши — уставшие, грязные, с красными от бессонницы глазами. Они попросили хлеба, и гончар отдал им последнюю краюху, потому что у него самого не было детей, а жена умерла от тифа в двадцать первом, и он кормил только себя и своего старого пса, который хромал на правую лапу. Наши ушли, и через два часа пришли другие. Другие были в черном, и их сапоги блестели в лунном свете, как жуки. Они не попросили хлеба. Они просто подожгли каждый дом, начиная с первого и кончая последним, и когда огонь добрался до хаты гончара, он стоял на пороге и смотрел, как горит его жизнь.

Он побежал. Не от огня — в огонь. Он рванул в дом, где горели его горшки, его глина, его высушенные заготовки. Он хотел спасти хотя бы что-то. Он схватил мешок с глиной — лучшей глиной, которую он копал на дне реки, синей глиной, которая пахла рыбой и тиной, глиной, из которой лепили еще его деда. Он выбежал из горящей хаты с мешком на плече, и тут пуля нашла его — не в сердце, не в голову, а в ногу, под колено. Он упал. Мешок лопнул, глина рассыпалась, и в эту глину, в синюю, драгоценную глину, смешалась

земля сгоревшей деревни — красная, с пеплом, с углями, с кровью.

Он лежал в воронке от снаряда — кто-то из наших или из других уже успел вырыть этот холмик смерти. Воронка была мелкой, в рост человека, и он скатился в нее, и глина, красная, горячая, кровяная, посыпалась сверху, засыпая его полумертвое тело. Говорят, перед смертью человек видит всю свою жизнь. Этот гончар видел перед собой только землю. Красную землю, которая лезла ему в рот, в глаза, забивалась под ногти, застревала между зубов, и он жевал ее, как хлеб, потому что больше нечего было жевать. Руки его были еще живы, когда голова уже отдала приказ умирать. Его пальцы двигались сами собой, как черви в разрезанной рыбе — сокращались, сжимались, разжимались, ища опору, ища последнюю точку опоры перед тем, как мир кончится. И эти пальцы взяли глину.

Он взял глину, смешанную с его собственной кровью. Кровь сочилась из разбитой головы — осколок снаряда или пуля, уже не важно, — и липкой струйкой стекала в яму, смешиваясь с землей, делая ее жидкой, тягучей, похожей на тесто. А вокруг горели хаты. Огонь выл как зверь, и этот вой проникал в уши гончара, и он знал: каждая хата — это чья-то жизнь, и каждая жизнь — это горшок, который разбился о камень. Пепел, легкий как пыльца, садился на глину, делая ее черной в красных прожилках, и глина теперь была не синей, не той, из дедовых рецептов, а новой — кровь, пепел,

угли, смерть. И из этой глины он лепил.

Он лепил с закрытыми глазами — ему не нужно было смотреть, он знал форму каждой шашки с детства. Его отец лепил шашки, его дед лепил шашки, и в каждой деревенской избе стояла доска, по которой стучали по вечерам, когда урожай был собран и небо чисто. Но он лепил не просто шашку. Он лепил Дамку.

Он сжал ком глины в ладони, и глина выступила между пальцами, как тесто, и он крутил ее, вдавливал, выминал, пока она не стала плотной, как камень. Потом кончиками больших пальцев он начал вытягивать форму — цилиндр, ровный, гладкий, с легким изгибом у основания. Он знал: шашка должна стоять на доске, не шатаясь, не падая от первого же сквозняка. Она должна чувствовать себя хозяйкой, даже когда она просто пешка. Но он лепил не пешку. Он лепил королеву. Он сформировал верх — утолщение, корону. Не острые зубцы, как на шахматной короне, нет — плавные, округлые, как холмы, как курганы, как груди женщины. Корона для королевы. Но королева без тела. Он вылепил только силуэт, контур, тень. У нее не было лица. У нее не было рта, чтобы кричать, и глаз, чтобы плакать. У нее были только плечи, крутые и покатые, как берега Волги, и эта дурацкая корона на голове, и пустота там, где должны быть черты.

— Ты будешь самой сильной, — прохрипел он, и в горле у него булькнуло, как в прорванном бурдюке, — там скопилась кровь, и каждое слово выходило с кровавым пузырьком. — Ты

будешь ходить назад. Ты будешь бить всех, кто встанет у тебя на пути. Потому что я, старый дурак, всю жизнь ходил только вперед и сдох в этой яме, даже не обернувшись. Ты поняла? Ты должна уметь бить назад. Бить в прошлое. Потому что только так можно выжить. Только так.

Пальцы его двигались быстро и точно. Я сам был свидетелем этого мгновения — нет, не телом, потому что тогда меня еще не родили на свет, а духом. Я, старый часовщик, вижу такие вещи, которые происходят до моего рождения, потому что время, как и шестеренки, повторяется. Каждое мгновение уже было, и каждое мгновение будет снова. Я просто смотрю в механизм и вижу, как прошлое заходит в будущее, как стрелка за стрелкой. Гончар дышал все реже, но руки его работали все быстрее. Он наносил на глину прожилки — не для красоты, нет. Он выцарапывал линии, похожие на дороги, на карты, на линии фронта. Он рисовал на ее теле карту войны, по которой ей предстояло идти.

— Живи, — сказал он и поднес фигурку к губам.

Он выдохнул. Последний выдох. Всю оставшуюся жизнь, которая помещалась в легких, пропитанных гарью и глиняной пылью, в легких, которые уже на треть были черными от сажи, он выдохнул в эту фигурку. Я клянусь вам, в тот момент фигурка дернулась. Я клянусь механизмами моих часов, которые никогда не врут: она дернулась, как дергается недоношенный ребенок, когда его впервые шлепают по спине. Она стала теплой. Глина, и без того теплая от крови,

вспыхнула — не огнем, а жизнью. И внутри, где полагается быть нутру, где глина есть глина, ничто не зашевелилось. Она стала пустой. Но эта пустота была наполнена яростью. Ярость старого гончара, ярость сгоревшей деревни, ярость разбитых горшков и съеденных хлебов, ярость умершей жены и убитой войны — все это влилось в пустоту, и пустота загудела, как гудят провода перед грозой.

— Иди, — прошептал он уже беззвучно. — Иди и бей.

Гончар упал лицом в глину и умер. Так и лежал: носом в мокрую землю, а рука его все еще сжимала корону Дамки, но не отдавал он ее, уже не мог разжать пальцы — свело судорогой, как у жадного ребенка, который схватил сладкую косточку и уснул, и косточка так и осталась в его кулаке. Судорога сжала мышцы, и пальцы стали каменными. Даже когда пришли мародеры — а они пришли, они всегда приходят после боя, как стервятники, — они не смогли разжать его руку. Они били по пальцам прикладами, они пинали его, они плевали на него, но рука держала Дамку. И мародеры ушли, плюнув: «Пусть гниет со своей глиняной игрушкой».

Воронка пахла смертью. Не той абстрактной смертью, о которой пишут в книгах, а конкретной, осязаемой — пахло разорванными кишками, горелым мясом, порохом и сладким, приторным запахом начинающегося разложения. Этот запах привлекает мух, и мухи уже гудели над воронкой, большие, жирные, с зеленым отливом, как у покойников, что лежат три дня в поле. И в этот запах, в это гудение, в эту черную

ночь, которая была чернее сажи, в воронку скатился мальчик.

Его звали Ваня. Ему было лет двенадцать, а может, и десять, а может, он был ровесником самой войны — кто считает годы, когда считают трупы? Он был худой, как грабли, как те графики голода, которые потом показывают в учебниках — торчащие ребра, острые лопатки, ключицы, похожие на вешалки. Лицо его было вытянутое, бледное, а глаза — огромные, серые, с красными прожилками. Такие глаза бывают только у тех, кто видел, как мать падает лицом в суп, потому что пуля прилетает всегда не вовремя, и суп разлетается, и кровь смешивается с картошкой, и уже никогда не понять, где мясо, а где человек. Ваня видел это. Он видел отца, который побежал за водой к колодцу, и колодец взлетел на воздух вместе с отцом, и от отца осталась только правая рука, которая лежала у крыльца и еще шевелила пальцами, словно просила милостыню. Ваня видел сестру, которую увели, и слышал ее крики еще три дня, пока ветер дул с той стороны, а потом ветер переменялся, и крики стихли.

Он искал, чем бы поживиться в этой деревне, где уже не осталось ни кур, ни собак, ни икон — все сожрал огонь. Он искал хлеб, он искал воду, он искал любую еду, потому что живот его сводило уже третьи сутки, и он жевал кору, и грыз землю, и сосал мокрые камни, чтобы обмануть желудок. Он шел от развалины к развалине, и ноги его, босые, в цыпках и ссадинах, ступали по углям, и угли шипели, соприкасаясь

с влажной кожей. Он уже не чувствовал боли. Боль ушла, остался только голод, тупой, тяжелый, как камень в животе.

Он увидел воронку. Он подошел к ней не из любопытства — любопытство умерло в нем вместе с матерью, — а потому что в воронках часто находили что-то полезное: патроны, консервные банки, иногда даже недоеденный хлеб, который вывалился из вещмешка убитого. Он спустился в воронку, поскользнулся на глине и упал прямо на труп гончара. Тело было еще теплым — неживым теплом, тем, которое остается в мясе на несколько часов после смерти, как в печеной картошке.

Он перевернул труп на спину. Лопатки хрустнули, как сухие сучки, как те сучья, которые он ломал для костра, чтобы согреться. Лицо гончара было черным от копоти, глаза открытыми, но мутными, как у вареной рыбы. И в его руке, в той, что не разжалась, Ваня увидел фигурку. Она была красной, с темными прожилками, с короной наверху. Она была маленькой, помещалась в кулак, но в ней было что-то такое, что заставило Ваню замереть.

Он протянул руку. Пальцы его коснулись глины, и в тот же миг он почувствовал — фигурка теплая. Теплее, чем мертвый гончар. Теплее, чем земля. Теплее, чем хлеб, который он не ел уже три дня. Он сжал фигурку, пытаясь вытащить из мертвой руки, и вдруг пальцы гончара разжались. Сами. Без усилия. Как будто они ждали именно этого мальчика, именно этой руки, именно этого прикосновения.

И Дамка укусила его.

Вы не поверите, но я видел этот укус. Глина сомкнулась вокруг его указательного пальца не больно, но крепко, как ухватывается за руку тонущий младенец. Ваня дернулся, но не выронил. Он почувствовал, что фигурка дышит. Не то чтобы она надувалась, как меха, нет. Она просто была живой. Живее его самого. Он чувствовал, как внутри нее, в той пустоте, что создал гончар, что-то шевелится, как в утробе. Шевелится и ждет.

— Ты чего? — шепотом спросил Ваня. — Ты кто?

Фигурка молчала. У нее не было рта.

Но в голове у Вани раздался звук. Не голос, нет. Голос — это когда слова. А здесь было что-то до-словесное, звериное. Барабанный бой. Стук шашек по доске, который он услышит только через много лет. Стук копыт по мерзлой земле. Стук пуль по металлу. И запах. От фигурки пахло луком и смертью. Лук рос здесь, на огородах, его сожгли вместе с хатами, и этот запах вьелся в глину навсегда. И еще пахло гончаром — его потом, его кровью, его последним дыханием. Ваня вдохнул этот запах, и у него закружилась голова, и он сел на землю, прижимая фигурку к груди.

— Я возьму тебя, — сказал Ваня. — Ты будешь моей.

Он сунул Дамку за пазуху, к голой груди. Глина прилипла к коже, и он почувствовал, как она пульсирует — раз, два, три. В такт его сердцу. Или его сердце билось в такт ей. Он уже не мог различить.

— Идиот, — прошептал он, глядя на мертвого гончара.
— Я, дурак, думал тогда, что это я беру ее с собой. Это она взяла меня. Она выбрала меня, как выбирают оружие, как выбирают палку, чтобы сбить плод с дерева.

Он провел рукой по груди, и на коже его остался красный отпечаток — след от Дамки. Пятно в форме шашки, с коронной сверху. Оно не смывалось, не исчезало, и когда Ваня вырос и раздевался перед девками, они крестились, потому что у него на груди было это кровавое пятно, багровое, с черными прожилками, как у той глины. Девки говорили: «Это дьявольская метка». Ваня смеялся и говорил: «Это любовь». И никто не знал, что он прав.

Он выбрался из воронки. За спиной его догорала деревяня — огонь уже почти утих, остались только угли и дым, который стелился по земле, как туман. В воздухе плыл пепел, смешанный с перьями, с кусками тлеющей ткани, с запахом жженных костей. Где-то кричала ворона — это был единственный звук, живой звук в этом мертвом мире. Ворона сидела на печной трубе, которая торчала из земли, как гнилой зуб, и смотрела на Ваню своими масляными черными глазами. И вдруг она каркнула. Каркнула так, как каркают только в августе 1943-го — с присвистом, с хрипом, с такой злой интонацией, что у Вани волосы на руках встали дыбом.

— Карр! — сказала ворона. — Ты взял ее, дурачок! Она родилась из смерти, а ты думаешь, она будет играть? Она будет убивать! Она будет убивать до тех пор, пока не останется

ни одной черной шашки! А когда не останется ни одной — она убьет тебя! Ты понял, мальчик? Она убьет тебя последним!

Ваня поднял камень и швырнул в ворону. Промазал — руки тряслись от голода. Ворона взлетела, хлопнула крыльями, и с ее крыльев посыпался пепел, такой густой, что на мгновение стало темно, как в яме. Ваня протер глаза кулаком, и когда он снова открыл их, вороны уже не было. Только небо — выцветшее, болезненное, с дырами от зениток, с длинными полосами дыма, похожими на шрамы.

И Дамка под его рубахой. Она была горячей. Она была живой. И она пульсировала.

Ваня пошел. Он не знал куда — на восток, где дымились новые города, на юг, где укрывались партизаны, или на запад, где стояли немцы. Он просто шел, и ноги его сами находили дорогу, а рука все время лежала на груди, на том месте, где Дамка приросла к его коже. И он слышал, как внутри фигурки шепчет голос — не слова, а что-то вроде ритма, вроде песни, которую поют еще не рожденные дети.

Я, старый часовщик, сейчас сижу в своей мастерской. За окном — руины. Не те руины, что сорок третьего, а наши, сегодняшние. Город разбомбили снова. Но я чиню время. Я знаю: та ночь, когда Ваня нашел Дамку, не кончилась. Она продолжается. Потому что время не течет по прямой, как вода в реке. Время — это доска. И каждая секунда — это клетка. Черная или белая. И по этой доске ходит Дамка. Ищет

свой край. Ищет свою смерть. Ищет идеальный ход, которого нет.

Я завожу свои часы. И когда стрелка делает полный круг, я слышу тот же стук, что слышал Ваня в воронке. Стук шашек. Стук сердец. Стук смерти.

Глава вторая. Доска из мертвых досок

В ту ночь Ваня не спал. Он лежал в подвале полуразрушенной школы, прижав к груди теплую глиняную фигурку, и слушал, как за стеной шепчутся голодные крысы. Крысы в сорок третьем были толще людей — они жрали трупы, жирели на мертвечине, и их шерсть лоснилась от жира, и от них пахло мясом, тем самым мясом, которое люди уже перестали есть, потому что его не было. Ваня слышал, как крысы скребутся, как они грызут деревянные балки, как они переговариваются тонкими голосами — он мог поклясться, что они переговариваются, потому что за три года войны он научился понимать язык зверей, язык голода, язык смерти. Они говорили: «Этот мальчик пахнет глиной. Он пахнет кровью. Он пахнет той, которая придет». И Ваня сжимал зубы и не отвечал.

Подвал школы был сырым и холодным. Сквозь щели в потолке просачивался лунный свет, падал на пол и рисовал там полосы, как струны. В углу стояла парта — одна единственная, перевернутая, с выломанными ножками. На стене висела карта мира, истертая, с дырами от пуль — пули прошили Африку и Бразилию, и Ваня думал: «Везде война. Нет ме-

ста, где нет войны. Даже у мертвых война не кончается». Он закрыл глаза, но сон не шел. Вместо сна перед ним плыли лица. Лицо матери с пробитым виском — она упала в суп, и суп был горячим, и пар поднимался над ее головой, и Ваня смотрел на пар, и не мог понять: это душа уходит или просто остывает похлебка? Лицо отца, который побежал за водой к колодцу, и колодец взорвался, и отец исчез, только правая рука осталась, и пальцы все еще шевелились, когда Ваня подошел. Лицо сестры — Насти, с рыжими волосами и веснушками на носу, — которую увели люди в черных шинелях, и она кричала: «Ваня, Ваня, не дай им, Ваня!» А он стоял за углом и боялся выйти, он смотрел, как ее тащат по улице, как она вырывается, как рвет на себе платье, и он ничего не мог сделать, только сжимал кулаки и считал до десяти, и когда он сосчитал до десяти, ее уже не было видно, только сапоги в пыли.

— Заткнись у себя в голове, — прошептал Ваня в пустоту, прижимая ладони к ушам. — Заткнись, я не хочу помнить. Заткнись, слышишь? Я больше не буду смотреть. Я не хочу видеть.

Он стукнул себя по голове кулаком — раз, два, три. Глухие удары отдавались в черепе, но лица не исчезали. Они плыли перед ним, как рыбы в мутной воде, и он не мог их прогнать.

И тут Дамка дернулась.

Она лежала у него на груди, прижатая к той коже, где гон-

чар оставил свой красный отпечаток. И она дернулась так резко, что Ваня подскочил, как от удара. Она не упала, нет — она вцепилась ему в грудь, как клещ, как тот самый клещ, которого он вытаскивал из своего бедра прошлым летом, и который так и не отцепился, пока он не прижег его раскаленной спичкой. По глине побежали трещины, и из этих трещин полился свет — красный, угольный, такой, какой бывает, когда смотришь на горячий кирпич в печи, или когда закрываешь глаза и смотришь на солнце сквозь веки. Свет был пульсирующим, как сердцебиение, и он заливал весь подвал, и тени от парты и карты на стене стали длинными, как руки мертвецов. Ваня испугался, но не выронил. Он не мог выронить — Дамка приросла к нему, и когда он пытался оторвать ее, глина тянула кожу, и появлялась боль, острая и сладкая.

Он приоткрыл рубаху и увидел: Дамка светится. Свет шел изнутри, из той пустоты, где у фигурки не было ни рта, ни глаз, и вдруг внутри нее, в этой пустоте, зажглась искра. Маленькая, белая, как звезда, но она росла, расширялась, и Ваня услышал звук. Не тот, что раньше — барабанный бой, нет. Теперь это был голос.

— Ты чего? — спросил он, и голос его сел, как у старого пса, который болел и не мог лаять. — Ты чего, а?

И он услышал прямо в позвоночнике — там, где кости соединяются с черепом, в том месте, которое называют входом в душу. Голос был похож на скрип глины под пальцами гончара, на шелест пепла, на звон — тот самый звон, который

он еще не знал, но который уже звучал в его крови. Это был голос женщины, но не человеческой. В нем была глубина колодца, высота неба, ширина поля боя.

«Играй», — сказала Дамка. — «Играй со мной. Ты должен научиться играть. Или ты умрешь. Я умру. Мы все умрем».

— У меня нет доски, — прошептал Ваня, и слезы потекли по его щекам, хотя он не плакал с того дня, как умерла мать. — Откуда мне взять доску? Здесь только грязь и камни.

«Нарисуй», — сказала она. — «Ты умеешь рисовать. Ты рисовал на заборе углем, когда был маленьким. Ты рисовал солнце. Ты рисовал дом. Ты рисовал маму. Нарисуй доску».

Он не понял, но тело его слушалось уже не его. Пальцы сами потянулись к земляному полу. Подвал был сырым, глина под ногами — мягкой, как тесто, как та самая глина, из которой гончар лепил свои горшки. Ваня провел пальцем по полу, и палец оставил глубокую борозду. Глина была жирной, черной, и в ней поблескивали слюдяные крупинки. Он провел еще одну борозду, поперек, потом еще и еще — четыре прямые линии. Потом четыре поперек. Потом еще четыре. И через минуту перед ним была доска. Восемь на восемь. Шестьдесят четыре клетки. Белые там, где глина была сухой и светлой, черные там, где он провел влажным пальцем, и влага сделала глину темной.

— А где шашки? — спросил Ваня, разглядывая пустые клетки. — У меня нет шашек. Мне нечем играть.

Дамка выскользнула из его руки. Она сделала это сама

— отлепилась от его груди, оставив на коже красный след, и прыгнула на доску, в самый центр, прямо на пересечение черного и белого. Она замерла, стоя на своем основании, чуть покачиваясь, как тростинка на ветру. И вокруг нее, словно из воздуха, словно из той же сырой глины, начали прорасти фигуры. Черные. Они лезли из земли, как ростки, как грибы после дождя — сначала появлялась маленькая точка, потом она росла, вытягивалась, принимала форму цилиндра с плоским верхом. Они были кривые, слепленные наспех — у одних не хватало верха, у других были искривленные основания, третьи падали набок, как подбитые солдаты. Но они стояли. Два ряда черных шашек стояли перед Дамкой, шестнадцать фигур, преграждая ей путь к дальнему краю доски — к последней горизонтали, к заветной полосе, где простая шашка становится королевой, где пешка получает корону и право ходить назад.

И тут Ваня понял. Это была не игра. Это была война. Каждая черная шашка — это солдат. Каждая клетка — это поле боя. И Дамка — это он сам, и он должен провести ее через этот строй.

«Бей», — сказала Дамка. Голос ее стал тверже, жестче, в нем зазвенел металл. — «Бей их, или они убьют меня. А если убьют меня — они убьют тебя. Они убьют твою маму, твоего папу, твою сестру. Ты помнишь сестру?»

— Не надо, — закричал Ваня, закрывая уши. — Не напоминай мне!

«Тогда бей», — прошептала она. — «Бей за нее».

— Но я не умею, — замотал головой Ваня. — Я никогда не играл в шашки. Я видел, как играют старики у колодца, но я не понимал правил. Они двигали фигуры, и я смотрел, и мне было скучно. Я не умею, слышишь?

«Врешь, — голос Дамки стал тихим, но от этого только более страшным. — Ты играл. Ты играл каждый день, когда бегал от пуль. Ты выбирал, куда бежать — влево или вправо, вперед или назад. Ты просчитывал, сколько шагов до укрытия, сколько до леса, сколько до смерти. Ты играл, когда прятался в яме и считал шаги немцев за спиной. Ты играл, когда решал — бежать в лес или в поле, просить хлеба у чужих людей или украсть. Ты играл, когда смотрел на сестру и решал — выбежать или спрятаться. Ты умеешь. Ты просто не знал, что это называется шашками. А теперь узнай».

Ваня протянул руку. Дамка сама прыгнула ему в ладонь, и он почувствовал, как глина нагревается, становится почти невыносимо горячей — так горячей, что он хотел выронить ее, но не мог, потому что пальцы свело судорогой, как у того гончара. Он взял ее, перенес на соседнюю клетку — на одну, на другую, на третью. Шагал медленно, нерешительно, как слепой. И вдруг Дамка остановилась. Она замерла на черной клетке, и Ваня увидел, что она смотрит на шашку слева. Простую, низкую, с трещиной на боку, с пятном, похожим на запекшуюся кровь. Эта шашка стояла на соседней клетке, и между ней и Дамкой была одна пустая клетка.

— Она бьет? — спросил Ваня.

«Она бьет», — подтвердила Дамка.

— Но я не хочу убивать.

«Ты уже убил, — сказала Дамка. — Ты убил, когда не вышел за сестрой. Ты убил, когда смотрел, как мать падает в суп. Ты убил, когда не пошел за отцом к колодцу. Твой счет открыт, Ваня. Не делай его больше».

Он заплакал. Слезы падали на глиняную доску, и каждая слеза оставляла след, как пуля оставляет след на стене. Но он протянул руку. Он перепрыгнул через черную шашку, и та исчезла. Она не упала, не отлетела в сторону. Она распалась, как сухой лист, рассыпалась в пыль и пепел, и этот пепел поднялся в воздух и улетел сквозь щели в потолке. И одновременно с этим Ваня услышал звук. Далекий, глухой, тяжелый — взрыв. Где-то за стенами школы, в поле, прогремела мина. Ваня вздрогнул. Он не видел, кто там погиб, но он знал. Это был тот самый солдат, что стоял на той клетке. Черный, с трещиной на боку. Тот, у которого, может быть, была жена и дети. Тот, кто, может быть, хотел жить так же сильно, как Ваня.

— Господи, — выдохнул Ваня. — Что я наделал?

«Продолжай, — приказала Дамка. — Теперь уже поздно останавливаться. У них есть ход. Они ударят, если ты не ударишь первым. Ты знаешь, как это работает на войне».

— Знаю, — прошептал Ваня. Он вспомнил тот день, когда они с отцом прятались в подвале, и отец сказал: «Если

они увидят нас — мы умрем. Надо выбежать первым». Он выбежал первым, и пуля нашла его. Ваня остался в подвале и слышал, как отец упал.

Он продолжал. Шаг за шагом. Он двигал Дамку вперед, влево, вправо, бил черные фигуры одну за другой, и каждый раз, когда шашка исчезала с доски, за окном раздавался звук — взрыв, очередь, крик. Стены школы дрожали. С потолка сыпалась штукатурка, и она падала на доску, на глину, на черные клетки, и Ваня смахивал ее рукой, не отрывая глаз от игры. Он не смотрел в окно. Он боялся увидеть, что там происходит.

Но он знал. Он слышал. Один взрыв — одна шашка. Одна очередь — одна шашка. Один крик — одна шашка. И внутри него, где-то в груди, рядом с Дамкой, росло холодное чувство — не удовольствие, нет, но что-то похожее на удовлетворение. Каждая убитая шашка приближала его к краю. К последней горизонтали. К раю Дамки.

— Я становлюсь чудовищем, — прошептал Ваня, и в голосе его не было слез. Только пустота.

«Ты становишься игроком», — поправила Дамка.

Глина впитывала пот с его пальцев, и доска становилась влажной, липкой. В углах подвала начали проступать тени. Они не были людьми — они были черными пятнами, как те шашки, которые он убил. Они стояли у стен, они смотрели на него пустыми глазами, и он слышал их шепот: «Зачем ты нас убил? Мы хотели жить». Ваня сжимал зубы до скрипа и

не отвечал. Он не мог отвечать. Потому что если он ответит — он сойдет с ума.

— Я не хочу больше, — всхлипнул он, когда на доске осталось пять шашек. — Я не хочу больше. Возьми меня, убей меня, но не заставляй!

«Ты должен, — голос Дамки был жестким, как сталь. — Или они дойдут до края. И тогда мы все умрем. И сестра твоя умрет еще раз. И мать. И отец. Ты хочешь, чтобы они умирали снова и снова?»

— Нет, — прошептал Ваня. — Не хочу.

«Тогда бей».

Он двинул Дамку вперед. Еще один прыжок — и еще одна шашка рассыпалась. За окном — автоматная очередь, длинная, хлесткая, как удар кнута. Ваня закрыл глаза, но Дамка не дала ему остановиться. Она сама вела его руку, сама выбирала направление. Она была жестокой. Она была быстрой. Она резала черный строй как серп — пшеницу, и каждая пшеница была человеком. У нее не было жалости. У нее не было сострадания. У нее была только цель — дойти до края, до последней горизонтали, где она станет королевой.

— Кто ты? — закричал Ваня в пустоту, и голос его сорвался на фальцет. — Кто ты такая?! Ты не шашка! Ты не глина! Ты кто?! Скажи мне!

И тогда Дамка остановилась. Она стояла на предпоследней горизонтали, до заветного края — один шаг. Одна черная шашка преграждала ей путь, последняя. Она была выше

других, шире, и на ее короне было написано что-то, чего Ваня не мог прочитать — буквы, цифры, знаки. И Ваня увидел ее лицо. У Дамки не было лица, но в тот миг он увидел. Там, в глине, проступили очертания женского лица — красивого, страшного, с глазами-пустотами. Губы у нее были сжаты в тонкую нитку. И на этой нитке висела капля крови. Кровь гончара, его последняя капля жизни, которая не успела смешаться с глиной.

— Я война, — сказала Дамка голосом, который звучал уже не в позвоночнике, а в комнате, в подвале, в каждом углу. — Я твоя мать. Я твоя смерть. Я твоя жизнь. Я та, что приходит после. А сейчас — бей. Ударь последнюю. Или она убьет меня.

Ваня размахнулся. Он ударил последнюю черную шашку, и она упала с грохотом — таким, словно рухнула башня, словно обрушился целый город. В тот же миг за окном взорвался снаряд. Стены школы дрогнули, потолок просел, и огромная балка рухнула в двух шагах от Вани. Сверху посыпалась штукатурка, известка, и в воздухе встало белое облако. Ваня упал на спину, прижимая Дамку к груди, и когда он открыл глаза — на доске, нарисованной пальцем, не было ни одной черной шашки. Только Дамка. Она стояла на последней горизонтали. На краю. На своем рае. На седьмом небе шашечного мира.

И она светилась.

Свет заполнил весь подвал, и Ваня увидел, что стены шко-

лы исчезли. Вместо них — поле. Черное поле, усеянное воронками, с остовом сгоревшей бронемашины, с торчащими из земли руками. Посреди поля — стол. Обычный деревянный стол, с доской на нем, и на доске — белые шашки, четыре штуки, выстроенные в ряд. И за столом — старик с белыми усами, длинными, как у сома, с глазами, которые светились желтым светом. Он смотрел на Ваню и улыбался.

— Ты выиграл, мальчик, — сказал старик, и голос его был как скрип старого дерева. — Ты выиграл свою первую партию. Но не радуйся. Это была самая легкая. Впереди еще девяносто девять смертей. Твоей Дамки. Твоей души. Твоей жизни.

— Кто ты? — прошептал Ваня.

— Я тот, кто считает ходы, — сказал старик. — Я время. Я судьба. Я тот, кто смотрит на доску и видит все партии сразу. А теперь иди. Иди и играй. Твоя Дамка ждет.

Ваня хотел спросить еще, но старик исчез. И поле исчезло. И свет погас. Остался только подвал, доска из глины на полу, и Дамка в его руках. Она остыла. Она стала просто фигуркой, обычной глиняной шашкой, с короной и красным отливом. Но на ее короне появилась трещина. Первая из ста.

Ваня заплакал. Слезы текли по его щекам, и одна упала на Дамку, и фигурка впитала ее, как земля впитывает дождь. Он плакал от усталости, от страха, от того, что сделал. Он плакал потому, что понял: он больше никогда не будет прежним. Он убил двенадцать человек. Он сделал это своей ру-

кой, через фигурку, через доску. Он убил, даже не выходя из подвала.

— Ты монстр, — прошептал Ваня, глядя на Дамку. — Ты убиваешь людей. Ты заставляешь меня убивать.

Дамка молчала. Она больше не говорила. Но Ваня знал. Она слышит. Она слушает. Она ждет следующего раза. Потому что ей нужно было есть. Ей нужно было кормиться смертями. И Ваня, сам того не желая, стал ее пастухом, ее священником, ее палачом. Он стал тем, кто носит ее через строй, кто проводит ее к краю, кто дает ей силу.

Наутро он вышел из подвала. Солнце вставало над полем — красное, болезненное, похожее на глаз. На поле, где вчера шла битва, лежали трупы. Много трупов. Все в черном — враги. И ни одного своего. Он прошел по полю, считая тела, и в руке его пульсировала Дамка, горячая, как печной кирпич.

— Один, — считал Ваня, и ноги его ступали по мокрой траве. — Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать.

Ровно столько черных шашек было на его доске. Двенадцать трупов. У каждого — глаза открыты. У каждого — рот открыт, как будто он хотел крикнуть, но не успел. И Ваня знал: это его работа. Каждая смерть — его ход. Каждый ход — чья-то смерть.

Он развернулся и пошел на восток. Туда, где дымился еще один город. Он не знал, зачем он идет. Но ноги его шли сами, а Дамка в его ладони пульсировала, как второе сердце.

Второе сердце, которое билось в такт с войной.

И в тот день, когда он нашел первую доску — деревянную, настоящую, с черно-белыми клетками, с выжженными по краям звездами, — он понял, что это судьба. Доска лежала на пороге сгоревшего дома, и на ней стояли три белые шашки. Простые. Без короны. Они ждали своего часа. Они ждали Дамку.

Он сел на обугленное крыльцо, положил Дамку на доску, и начал игру. Одну. Против трех. И Дамка прыгнула, ударила первую, вторую, третью, и каждая падала с тяжелым стуком, как падают кегли. И когда последняя шашка исчезла, Ваня услышал смех. Смех Дамки. Глиняный, сухой, шелестящий, как пепел по ветру.

Он смеялся вместе с ней. Смеялся до слез, до икоты, до боли в животе. Смеялся потому, что понял: он больше не мальчик. Он орудие. Он тот, кто ведет Дамку через строй. И он будет вести ее до конца.

— Теперь ты моя, — сказал он, и в голосе его было столько же стали, сколько в голосе смерти. — Теперь мы одна семья.

На небе, над его головой, разорвался еще один снаряд, и осколки посыпались дождем. Но ни один не попал в него. Потому что Дамка, стоявшая на доске, поднялась в воздух и заслонила его собой. Она приняла удар. И от удара на ее короне появилась еще одна трещина — вторая из ста. Но она не разбилась. Она устояла.

— Сто смертей, — прошептал Ваня, глядя на две трещи-

ны, пересекающиеся под прямым углом. — Тебе суждено умереть сто раз. Но ты не умрешь ни разу. А я буду рядом. Я буду держать тебя. Я буду твоей рукой.

И он пошел дальше, неся в своей ладони свою королеву, свою убийцу, свою любовь, свою мать, свою сестру, свою войну. И ветер, пропитанный гарью и луком, дул ему в спину, подталкивая вперед — туда, где за линией фронта его ждала первая настоящая партия. Партия на жизнь. Партия, за которой наблюдал сам дьявол с белыми усами.

Но это уже совсем другая история. История доски, на которой вместо клеток были окопы, а вместо шашек — люди. История, которая научила меня, старого часовщика, что время — это не стрелки. Время — это ходы. И мы все — просто фигуры на доске у кого-то, кого мы никогда не увидим.

Но это потом. А пока — Ваня идет. И Дамка с ним. И глина ее поет. Поет песню войны. Песню, которую я слышу до сих пор, когда завожу свои старые часы. Она не кончается. Она никогда не кончится, пока есть доски. Пока есть игроки. Пока есть те, кто верит, что можно дойти до края.

Глава третья. Игроки

Ваня шел на восток сорок семь дней. Он не считал дни, но я, старый часовщик, считаю за него — я вижу каждый его шаг, как вижу каждое деление на циферблате. Сорок семь дней по разбитым дорогам, через сожженные леса, через реки, в которых плавали трупы, такие раздутые, что их принимали за бревна, и только когда ветер менял направление,

становилось ясно — это не бревна, это люди, это братья, это враги, теперь уже все равно кто. Ваня шел и жевал кору, пил воду из луж, спал в стогах сена, которые еще не сторели, и каждую ночь, когда садилось солнце, он доставал Дамку из-за пазухи и смотрел на нее.

Она уже не была просто глиной. Она изменилась. Ее цвет стал глубже, насыщеннее — не красный, а багровый, как венозная кровь. Трещины, которые появились в ту ночь в подвале, не увеличились, но стали чернее, как будто внутрь забилась копоть. И Ваня чувствовал — она голодна. Она хотела новой партии, новой крови, новых смертей. Но пока он был один, и на его пути не было досок, не было противников, только пустота и ветер.

На сорок восьмой день он вышел к городу. Город назывался Минск, но это был не тот Минск, что стоит на картах, — это был Минск, который сожгли, разбомбили, вытоптали сапогами. Но в центре, среди руин, чудом уцелело здание. Оно стояло, как зуб в гнилой десне — обгоревшее, но не рухнувшее. Над входом висела вывеска, которую кто-то наспех прибил поверх немецкой: «Шашечный клуб имени Петра Первого». Кто был этот Петр Первый, Ваня не знал, но звучало важно.

Он вошел внутрь. И мир изменился.

Внутри здания пахло табаком — тяжелым, дешевым, махорочным, который резал ноздри, как наждак. Пахло потом, старым деревом, лаком, которым покрывали доски, и еще

чем-то кислым, терпким — страхом. Запах страха Ваня знал хорошо, он нюхал его в окопах, в подвалах, в горящих домах. Но здесь страх был другим — не животным, не тем, который бьет в виски и заставляет бежать. Здесь страх был спокойным, вязким, как патока. Люди боялись проиграть. Боялись не смерти — они боялись позора. И Ваня понял: эти люди играли не на жизнь, но на что-то похуже. На честь.

В зале стояло двадцать столов. На каждом — доска. Черно-белые клетки, выжженные на дереве, отполированные до блеска человеческими руками. Шашки стояли ровными рядами — черные и белые, гладкие, отлитые из эбонита или вырезанные из кости. Никакой глины. Никакой крови. Но Ваня чувствовал: каждая шашка здесь — это душа. Каждая игра — это битва. Только здесь убивали не пулями, а умами.

В углу за столом сидел человек, который сразу привлек внимание Вани. Он был старым, но не старым, как гончар, — его старость была другой, сухой, как осенний лист. Кожа его обтягивала череп, глаза запали глубоко в глазницы и светились оттуда желтым, как у совы. Его пальцы были длинными и тонкими, как спицы, и когда он двигал шашки, они не стучали — они шелестели. Человек играл сам с собой. Одна рука водила черные, другая — белые. Он бил себя, выигрывал у себя, проигрывал себе. И улыбался.

— Ты кто? — спросил Ваня, подходя к столу.

Человек поднял глаза. Желтые зрачки уперлись в Ваню, и мальчик почувствовал, как по спине пробежал холод —

такой же холод, как у Дамки, когда она готовилась к удару.

— Я — Леонид Степанович, — сказал человек, и голос его был сухим, как шелест бумаги. — Тренер, судья, игрок. А ты — мальчик с глиной. Я вижу ее. У тебя под рубахой. Она пульсирует. Ты знаешь, что она делает с людьми?

— Она моя, — сказал Ваня, и рука его инстинктивно прикрыла грудь.

— Она не твоя, — усмехнулся Леонид Степанович. — Ты ее. Ты — ее ноги, ее руки, ее глаза. Ты — ее раб. И ты пришел сюда, потому что она захотела есть. Она слышит запах игры. Она слышит запах досок, и она хочет пить.

Он поднялся из-за стола и подошел к Ване. Ростом старик был невысок, но в нем было столько силы, что Ваня невольно отступил на шаг. Леонид Степанович протянул руку и коснулся груди Вани — прямо там, где под рубахой лежала Дамка.

— Она горячая, — сказал он, и в голосе его появилось уважение. — Очень горячая. Такие рождаются раз в сто лет. Глина, кровь, пепел. И дыхание умирающего мастера. Ты даже не понимаешь, что у тебя в руках, мальчик. Это не шашка. Это оружие. Это ключ.

— К чему?

— К победе, — сказал Леонид Степанович. — К абсолютной, окончательной, последней победе. Такая Дамка не проигрывает. Она не умеет проигрывать. Она умеет только бить. И она будет бить, пока не убьет всех. Или пока не убьют ее.

Ты готов к этому?

Ваня молчал. Он смотрел на старика, на его желтые глаза, на его тонкие пальцы, и думал: «Он знает. Он все знает. Он видел таких, как я. Он видел такие фигурки. И он жив. Значит, можно выжить».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.